

НЕ УСПЕЕШЬ ОГЛЯНУТЬСЯ

В пятницу меня отправляют *туда*.
Туда — это темное, салатно-зеленое пространство, пропахшее обойным клеем, место, в котором замирает время, и стрелка груши-часов в коридоре никуда не спешит.

Я ненавижу пятницы.

Из грязного окна сочится тягучая серость солнца в зените, тихо-тихо работает телевизор — и там, внутри него, тоже бесконечная тоска. Сменяют друг друга оранжевые заставки, пластиковые люди пожимают руки, передают фальшивые зеленые банкноты, со скучающим видом убивают друг друга из черных матовых пистолетов. Это всё ненастоящее. Это всё для тех, кто уже *за* жизнью. Как дед, как бабушка.

А я — еще только *перед* ней.

Я ложусь на ковер и рассматриваю его узоры, кляксы, в которых мне чудятся красноватые театральные рожи с черным ртом. Считаю плитки потолка — хорошо бы наступить на каждую из них ногами, послушать хруст пенопласта. Стыки обоев с рваными краями. Мутные тетки с блестящими влажными зубами рекламируют наручные часы. Зачем часы? Лакированный шкаф, скрипучие дверцы.

Все спят. Шуметь нельзя.

И мать не звонит.

Никто не звонит. Никто никого не будит.

Никого не будет.

Все спят.

* * *

Родители — неплохие люди. В том, что они поместили меня *сюда*, их вины нет. Если это происходит в будние дни. А сегодня — сегодня они просто не ведают, что творят.

Еще раз: я ненавижу пятницы. Во-первых, в пятницу я родилась — слава богу, что не в пятницу тринадцатого. А во-вторых... Как бы объяснить это «во-вторых»?

Во-вторых, в пятницу *она* ходит «на танцы». «Ой, какая молодец твоя мама! А какие танцы? Бальные? Румба?»

Я ожесточенно молчу.

По пятницам мать раскрывает верхнюю секцию шкафа, где лежат *те самые* вещи. Это значит, что час настал.

У матери три вида одежды: «надел ды пошел» — раз. За этот можно не бояться: это на работу, в магазин, на улицу. «Приличный» — два. Тоже безопасно. «На танцы» — три. Этот — самый ужасный. Когда я вырасту, то спалю все эти шмотки — все эти кожаные юбки на ремне, сабо, полупрозрачные кофты в рюшах, красные шляпы, обтягивающие сиреневые джинсы.

Джинсы эти она притащила на прошлой неделе после того, как всё утро провела «на базаре».

— Ну, как я? — мать крутилась перед нами с отцом, отключивая квадрат задницы, надувала губы, стягивая такую же сиреневую джинсовую куртку на груди. Мать была очень хороша. Сексапил.

Я уткнулась отцу в плечо и захныкала.

— Ты чего? Чего ты, чего? — испуганно закудахта- тала мать.

Объяснить, чего я — про «танцы» и вообще, — было слишком... невозможно, невозможно это было. Не полагалось, открывало суть моих тревог, моего совсем не детского ума, который «впитывал, как губка» — это часто повторяла мать, сама не понимая, о чем говорит.

— Ты, наверное, тоже хочешь новые наряды, да? Да? Ну, успокойся, — она опустила на колени у старого дивана с подушками-буханками. — Завтра с то-

бой сходим на рынок. Хочешь? Купим тебе штанишки и какую-нибудь маечку...

И мы пошли на рынок, продираясь между рядами, накрытыми толстым полиэтиленом от дождя. Так у меня появились джинсы с застёжкой-клубничкой. После мать отвела меня в кафе с тканевыми зонтиками — тут же, на рынке. Нам выдали две картонки с коричневым шашлыком на шпажках и горкой сизого лука. Я сбросила лук в помойку, налила на край картонки кетчуп — огромная красная бутылка стояла на каждом пластиковом столе. Запивали всё шипучим приторным «Спрайтом». Это была мать номер один — добрая, великодушная, щедрая.

А есть еще мать номер два. Мать номер два взрывается без повода, орет с гаркающим свистом, лупит руками по мебели и рвет зеленые школьные тетрадки: «*Тупиздень!* В кого ты такая *тупиздень?*».

И еще эта мать номер два ходит «на танцы». В пятницу вечером.

— Одевайся живее. Цигель-цигель!

Я провожаю взглядом стопки своих книжек — возьму вот эту, про иголку в водопроводе, — складываю в специальный пакет на кнопке белую куклу с оранжевыми волосами, единственного Кена с пылыми штанинами вместо ног и третью, разлучницу, — смуглую тонкую барби с каштановой косой и гнущами в коленях и локтях ногами-руками.

Мать застегивает на мне зеленую куртку космонавта, в молнию обязательно попадает кожа на подбо-

родке, затягивает шарф — душит, под узел всё равно задувает ледяной осенний ветер. «Ну что ты вечно недовольная? В каприз обвалялась...»

Хлопает деревянная дверь, на три оборота закрывается железная. Мы выходим во двор.

* * *

Дома тоска не та, что *там*. Дома тоски не существует. Есть книжки, есть всякие другие занятия. Играть в школу — царапать батарейкой по крышке «бара» (секция в стенке с откидной крышкой, если навалиться — отломится; уже отломилась), вроде как мелом по доске. Можно и просто играть — в куклы, в хрустальный замок из серванта с лебедями-салфетницами. Можно писать сказку про мышь, про лисенка, который ищет дом, — это моя игрушка, набитая маленькими шуршащими шариками. Придумывать досье на одноклассников — подсмотрела в «Ералаше» и забрала у отца синюю папку со страшной надписью «Акты ремонта из Москвы». Внутри — просто бумажки, ни дырокола, ни хрустящих файлов у меня нет. Когда вырасту, будут.

Дома не живет тоска — ей негде ночевать в нашей двенадцатиметровке. Такие дома, как наш, называются ЗГТ — здание гостиничного типа, — и каждый год нам обещают, что тут вот-вот и вправду будет гостиница, а нас расселят по уютным квартиркам в новых домах. На каждом этаже ЗГТ по десять таких комнат

с крохотными предбанниками, где стоят одинаковые электрические плитки с одной конфоркой и одинаковые холодильники «Полюс». Еще к комнате примыкает крохотный туалет и кладовка. Умельцы вроде моего папы переделывают этот один метр кладовки в душ, чуть менее смекалистые моются прямо над унитазом, поливая себя из кружки.

На диване спят родители, и он кажется мне огромным; между одеял можно валандаться, воображая, что плаваешь в море. Мое место — в раскладном кресле, за которое утыкают мутные банки с соленьями.

Однажды ночью будет потоп, наводнение, цунами до самого нашего пятого этажа. И все мы останемся плавать на своих кроватях, потерявшись в бескрайнем море. У меня хотя бы будут банки. Я смогу кого-нибудь спасти — может, Женю Дохорова из нашего класса. А родители? Как?

А еще елка. Возле дома, нашего сто-писят-пять-корпус-один, растут гигантские ели, выше крыши. И если в каждой квартире просверлить дырку в полу, и в крыше сделать дырку, и деревья засунуть внутрь дома, то у всех всегда будет по куску. Настоящая ель — всегда, круглый год.

— Она полквартиры займет, — усмехается мама. — Вот вырастешь — сделаешь. И дырки в полах, и елки, и что хочешь.

— А когда я вырасту? — помолчав, спрашиваю у нее, заранее зная ответ.

— Скоро. Не успеешь оглянуться.

Я паясничала, оборачивалась назад, на сто-пятьдесят-корпус-один и елки, оборачивалась так резко, что свистело в стянутых шапкой ушах, даже пробовала идти задом. И еще, и еще, и снова.

— Что-то не получается, мам.

— Дурочка, — вздыхает она. — Это просто так говорят.

* * *

Мне не было так скучно еще два года назад. Бесконечный полдень, бесконечная спячка после обеда, когда ты хочешь жизни, а тебе говорят подождать — сами укладываются и дрыхнут, дрыхнут... Есть ли матное слово для «дрыхнуть»?

Обещают не спать, а спят.

У отца я видела книжку со страшным пауком: «Полдень. Двадцать первый век». «А сейчас какой, пап?» «Двадцать первый». Это, может, многое объясняет. В фильмах, других, которые показывают вечером, в старых фильмах, — там люди живут иначе. Они не спят.

Полдень, вечный полдень. Как летом, когда стоит глухая мертвая тишина, и слышно только, как деревья сверху шелестят — уныло, *вечно*, как три сотни лет до этого. А потом приходит зима — и другая тоска. Ветер противно задувает под узелок шарфа, шарф намочает возле рта и тут же холодеет, противно. Вот тебе и зима. Лето, может, даже и лучше. Летом мать почти не ходит «на танцы»...

Спрашиваете: почему же я не люблю танцы? Что я имею против?

Вы, стало быть, не поняли ничего.

«Танцы» — это не просто так. Танцы стоят рядом со словом «измена». Я знаю, что оно означает. Им пропитан воздух: в мыльных операх по телевизору, в мягких книжках, которые матери дарит тетка по отцу, наконец, в самих скандалах матери с отцом — когда она накидывается на него с кулаками, а он, пытаясь утихомирить ее, хватается за запястья и теснит из комнаты в коридор.

Мои куклы часто играют в измену. Барби номер раз — рыхловатая, дешевая, с рыжими жесткими волосами — выходит за единственного Кена с джинсовыми штанами, в которых нет ног. На горизонте появляется вторая Барби, поновее, Кен ложится на нее сверху, не снимая штанов-ног, и трется вверх-вниз, иногда волнообразно спуская голову до стоячей пластиковой груди. Рыжая Барби влетает в дом на диване и устраивает скандал: я беру ее в одну руку, новую пассию Кена — в другую, и бью их друг о друга крест-накрест, пока из пазов не вылетают кукольные руки и не летят в разные стороны мягкие головы. Вероломный Кен садится в машину-тапок и уезжает в игрушечный закат.

Я не знаю, что такое «танцы». Но я знаю, что такое «измена». И знаю, шестым детским чувством, детской «губкой», которая впитывает все разговоры — впитывает и раскладывает их по кричащей сетке журнала

«СПИД-Инфо», — знаю, что мать изменяет отцу. Я знаю и вижу ее ухажеров (слишком сильное слово для сальных, заплывших, неопрятных мужчин, с которыми она крутится там, «на танцах»).

Изменяя отцу, она будто бы изменяет и мне. Я чувствую щиплющую, противную горечь, липкую тошноту всякий раз, когда она собирается «на танцы» — запихивает белую веснушчатую грудь в растянутый лифчик на косточках, натягивает капроновые колготки, раскатывая с носка, крутится в плиссированной кожаной юбке, подчесывает волосы и — главное — бесконечно дует тонкие губы, раскрашенные жирной дешевой помадой. Если мать уходит в простых брюках и свитере, мне спокойнее, — и я научилась кривить притворные гримасы в ответ на ее «Ну как?», если считаю наряд особенно опасным, если хочу, чтоб она переделась. Но это редко помогает, почти никогда.

Я должна сказать еще и про тетю Лиду.

Если бы пятница была человеком, она стала бы тетей Лидой — тетей Гнидой, как я тихо, сдавленным шепотом, называю ее. Я ненавижу тетю Гниду так, как я ненавижу пятницу, даже сильнее. У нее некрасивое белесое лицо с длинным носом и маленькими поросычьими глазками, на голове — «гуля» из жидких волос, на необъятном вислом заду — протертые лосины. Она никогда не красится и пахнет смесью детского мыла и кошачьей ссины. Зато носит трусы со шнурком между ягодиц. Слово «сексапильный» — от нее.

Каждый раз у нас в гостях она просит поставить «кричащую» песню — и каждый раз с бульканьем подпеваёт: «Щомагооон!». Мать поправляет не лучше, «Шоумастгоон», при этом строит надменное лицо, актриса. Тетя Лида пьёт чай с шестью кусками сахара и рассуждает о том, как у очередного «хахаля» съехал куда-то резиновый «чехол» прямо во время «этого самого». Про губку тетя Лида не слышала ничего.

Мать заговорщически подмигивает и отправляет меня на улицу, обещая тете Лиде показать «одну кассету». И кассету я тоже нашла: сразу за титрами «Грязных танцев» сквозь помехи пробивались два мокрых от пота тела, смуглое и совсем белое, мягкое. Они держались на огромной кровати, тетка смешно задирала и разводила в стороны ноги. Вот она перевернулась и встала на колени перед камерой — между ее рыхлых бедер, перетянутых чулками, виднелся треугольник рыжеватых волос, как на смешных картинках в дедовских желтых газетах. Волосы ее намокли от пота, глаза — мутные, зрачки будто плавали; она тяжело дышала полуоткрытым ртом. Сзади опять появился смуглый, она безвольно нагнулась, растопыриваясь перед ним. Я промотала пленку на начало и спрятала в тайник.

Про измену я знала всё. И я не понимала — зачем? Зачем «танцы», зачем дядя Валера, у которого в усах застревают виноградные кости? Зачем нужно бросать меня каждую пятницу, помещать в пространство тоски и даже не думать, как я там маринуюсь, схо-

жу с ума, подсчитывая секунды: раздватричетырепять-минутастостооднастодвестотри? Неужели не тоскливо ей так, как тоскливо мне? Неужели никому больше не больно?

* * *

Лень полудня *тут* достигает пика к закату. Если все храпят и вечером, то становится еще хуже. Я не могу включить свет. Телевизор, на прощание плюмкнув, без пульта вырубается. Я не знаю, где пульт, у кого-то в кровати. Становится так тихо, что я слышу тиканье часов-груши и капанье крана на кухне: тук... тук... тук. Говорят, нельзя спать на закате.

Но едва начинается вечер — время оживает, закручивается вновь. Просыпается бабушка — тяжело усаживается на кровати, потирает грудь, засовывает ноги в клетчатые тапки. Она шаркает подошвами до кухни, закуривает серый «Беломор», ставит чайник. Это уже хорошо. Значит, как только она докурит, на кухню можно и мне.

Я забираюсь на табуретку и рассматриваю столешницу тараканьего цвета с прожилками; под бортики наметает грязь, которую можно выскабливать пилкой — она превращается в тонкую, закручивающуюся спиралькой колбаску, серые ошметки сыплются на пол.

Бабушка спрашивает, буду ли я «йисть»; есть — это хорошо, есть — это не спать. Открываются банки